

АРТЕМ РАДИН

ГОРОД ПОД ГОЛОСАМИ

Здесь прошлое говорит вслух.



Артём Радин

Город под голосами

«Автор»

2026

Радин А.

Город под голосами / А. Радин — «Автор», 2026

Когда Марина возвращается в родной город после исчезновения брата, она надеется найти простое объяснение: долг, побег, чужую ошибку, которую ещё можно исправить. Но город встречает её не ответами, а голосами — из старых радиоточек, архивных плёнок, больничных коридоров и квартир, где люди годами делают вид, что ничего не слышат. Следы ведут к заброшенному санаторию «Белая Вода» и истории, которую когда-то спрятали слишком глубоко. Чем ближе Марина подбирается к правде, тем яснее понимает: брат искал не только пропавших людей. Он пытался доказать, что прошлое здесь не умирает — оно учится говорить чужими голосами. Мистический триллер о семейной вине, памяти, страхе услышать правду и городе, который хранит тайны лучше живых.

© Радин А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	12
Глава четвертая	16
Глава пятая	19
Глава шестая	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Артём Радин

Город под голосами

Глава первая

В Сосновый Яр я вернулась с двумя чемоданами и чужим ключом от собственной квартиры. Ключ лежал в кармане пуховика, завернутый в аптечный чек: мама всегда так делала, когда боялась потерять мелочь. На вокзале пахло мокрой шерстью, железом и дешевым кофе из автомата, который принимал только десятки и выдавал стаканчик с таким скрипом, будто его выдавливали из стены. Я не была здесь одиннадцать лет. За это время город не стал ни меньше, ни хуже — он просто перестал притворяться живым.

В Москве я научилась спасать чужие голоса от плесени, но свой город оставила гнить без присмотра. Это звучит красиво, если не знать, как на самом деле выглядит архивная работа: перчатки, спиртовые салфетки, протоколы, бесконечное ожидание, пока техника прогреется.

На площадке третьего этажа лампочка горела вполнакала. Дверь нашей квартиры открылась тяжелее, чем я помнила, и зацепила край коврика, давно продавленного посередине. Я поставила чемодан у стены и минуту слушала подъезд: лифт не работал, за дверью соседей кашлянул телевизор, где-то наверху спустили воду. Никакой музыки, никакого шепота. Только дом, который жил без нас и не собирался объяснять, как у него это получилось.

Мама умерла тихо, как будто выключилась. Врач написал обычные слова, от которых не становится легче и труднее спорить: острая сердечная недостаточность. В этой формулировке не было ни Матвея, ни старого водозабора, ни того, как мама последние годы боялась оставлять кран открытым даже на минуту.

Я иду от вокзала мимо старой ветки и закрытого кинотеатра, замечая свежий знак радиорубки на подъезде.

Я долго думала, что вокзал и мамина квартира запомнились мне из-за страха. Потом стало ясно: страх только подсветил мелочи, которые и без него были точными. Кассета с надписью «не слушать дома» лежал не как символ, а как вещь, которую кто-то держал в руках слишком долго. На поверхности оставались царапины, пятно от пальца, запах бумаги или металла; ничего из этого нельзя было предъявить следователю как доказательство, но именно такие следы не дают истории расползтись в красивую легенду. Когда рядом возникали мама, Матвей, отец, я цеплялась не за объяснения, а за порядок действий: куда положили ключ, кто выключил воду, кто первым отвел взгляд. Так город переставал быть декорацией и становился механизмом, в котором каждая привычка могла однажды сработать против человека.

Снег скрипел так сухо, будто его насыпали из мешка.

Город не скрывал меня, он проверял, помню ли я его правила.

Телефон Матвея снова ушел в глухую пустоту. Я не стала оставлять сообщение. Раньше оставляла длинные, разумные, с раздражением в середине и заботой в конце; он отвечал одной фразой через три дня, будто не слышал ничего, кроме последнего слова. Теперь последнее слово могло стать ловушкой. Я написала: «Я приехала. Где ты?» Сообщение висело с одной серой галочкой, и от этой серости было холоднее, чем от батарей.

Я напоминала себе, что страх не является доказательством, но доказательства в эти дни вели себя хуже страха.

Мы говорили негромко. В последние дни громкость казалась не свойством голоса, а приглашением.

Самым трудным было не поверить в невозможное. Гораздо труднее оказалось не подчиниться возможному, потому что возможное выглядит деловито: журнал на столе, просьба

подписать, знакомый голос в динамике, соседская фраза, произнесенная между делом. Голос из трубы называет веру по имени. Я могла объяснять это усталостью, акустикой, старыми трубами, плохой проводкой, но каждое объяснение требовало выкинуть из картины одну живую деталь. А детали упирались. Они не давали мне стать ни верующей, ни скептиком. Приходилось оставаться человеком, который проверяет, ошибается, злится и снова проверяет, потому что другой защиты у него нет.

— Кто там?

На кухонном столе лежат мамин паспорт, старый диктофон и конверт с кассетой: «Вера. Не слушать дома».

В тот день женщина из соседней квартиры делает вид, что пришла за солью, хотя в руке у нее пустой стакан. Я ответила не сразу. В Сосновом Яре паузы стали важнее слов: в них было видно, кто боится за себя, кто за другого, а кто пользуется чужим испугом как лестницей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь старший и спокойный сказал, что делать с кассета с надписью «Не слушать дома», но старшие в этой истории либо молчали, либо оставляли после себя записи. Пришлось выбирать самой. Я сказала коротко, что мне нужно время, и услышала в собственном голосе не уверенность, а упрямство. Иногда этого достаточно, чтобы не открыть дверь, которую перед тобой так настойчиво называют единственной.

Из труб шел тонкий металл, не звук даже, а давление на слух.

Вещи были разложены слишком аккуратно для случайной смерти.

Отец прятал ключи в банке из-под варенья. Эта память не помогала прямо; она не давала кода, не открывала люк, не отменяла смерть. Зато она возвращала людям объем. Отец переставал быть голосом, мать — запретом, Матвей — пропавшим делом, Соколов — формой при погонах, Зоя — сумасшедшей с окраины. У каждого находились жесты, дурные привычки, неудачные слова, мелкие нежности, которые не помещались в чужой протокол. Белая Вода кормилась тем, что отрезала голос от человека. Поэтому всякая обычная память, даже смешная и бесполезная, работала против нее лучше, чем громкие обещания.

В семейных историях самое опасное не ложь, а то место, где ложь успела стать заботой.

Я попыталась ухватиться за порядок: кто, где, когда, что слышал. Порядок держался несколько секунд, потом вода под ним снова шевелилась.

Разговоры с людьми в таких обстоятельствах быстро теряют приличный вид. Никто не формулирует боль аккуратно. Один требует вернуть умершего хотя бы на минуту, другой просит стереть все, третий цепляется за инструкцию, четвертый ненавидит того, кто принес новость. Я тоже не была лучше. Меня раздражали вопросы, которые имели право быть заданными; раздражала осторожность Соколова, резкость Матвея, тетина забота, похожая на надзор. Но если убрать раздражение, останется пустая поза. Живые мешают друг другу именно потому, что еще могут выбрать: не звонить в полицию сразу, а сначала понять, что именно оставила мать. Выбор почти никогда не выглядит благородно в моменте. Он похож на неряшливую работу руками, которые дрожат не вовремя.

— В доме не включай. Слышишь? Не включай.

Я запускаю кассету на магнитофоне «Весна» и слышу мамин приказ не включать запись в квартире.

К вечеру вокруг вокзал и мамина квартира менялось освещение, и вместе с ним менялась вся версия случившегося. Днем предметы выглядели служебно, ночью начинали подыгрывать страху, утром снова делали вид, что не имеют к нему отношения. Я заносила в блокнот простые вещи: время, шум, имя, направление, кто присутствовал. Столбцы получались уродливыми, с пометками и вопросами на полях. Но именно в них возникала первая свобода. Пока событие записано чужим голосом, оно командует. Когда ты записываешь его своей рукой, пусть криво и неполно, приказ становится материалом для проверки.

Коридор был узкий, но тень в нем казалась шире стены.

Запрет прозвучал поздно, как все важные мамины предупреждения.

С мама было труднее всего, потому что близость всегда портит расследование. Дальнего человека можно подозревать красиво, родного — только с отвращением к себе. Я ловила себя на том, что ищу оправдание там, где надо искать причину, и обвинение там, где надо признать страх. Кассета с надписью «не слушать дома» всякий раз возвращал разговор к фактам. Его нельзя было утешить, разжалобить, пристыдить. Он просто лежал и требовал места в цепочке. Такие вещи неприятны тем, что не умеют любить нас в ответ, зато не подстраиваются под нашу нужду быть правыми.

В обычной жизни такие совпадения списывают на усталость. В Сосновом Яре усталость была только первым объяснением, самым вежливым.

Если бы кто-нибудь описал это мне раньше, я бы решила, что он путает страх с воображением. Теперь воображение выглядело беднее фактов.

Когда стало ясно, что следующим пунктом будет адрес тети Лиды, я не почувствовала облегчения. В детективных историях маршрут собирает смысл, а в жизни он чаще собирает усталость: еще один адрес, еще один человек, который не скажет всего, еще одна дверь, где тебе придется выглядеть спокойнее, чем ты есть. Я проверила карман, нашла там чек, старую резинку для волос и ключ, который давно пора было переложить. Это смешное содержимое кармана удержало меня от паники. Мир не обязан исчезать целиком только потому, что в одной его части открылась трещина.

— Папа умер.

Я могла бы позвонить брату еще раз. Могла бы сделать это год назад, когда он впервые прислал странное сообщение про шумы. Вина любит такие простые грамматические формы: могла бы, должна была, не сделала.

Ночью я думала не о призраках. Призрак был бы почти милосерден: у него есть форма, история, причина явиться. Здесь же работало что-то хуже и обыденнее, умевшее пользоваться тоской, привычкой, семейной виной, неотвеченными звонками. Оно не обещало чудес. Оно предлагало знакомую интонацию в нужную секунду, и человеку оставалось сделать шаг самому. Поэтому главным вопросом был не вопрос веры. Главным становилось умение задержаться на месте, услышать просьбу и не спешить превращать ее в приказ.

Под мойкой капает вода, и из глубины трубы мужской голос произносит мое имя. Не брат. Отец.

Пахло мокрой шерстью, железом и дешевым кофе.

Утром я перечитала заметки и вычеркнула два лишних слова. Потом вернула одно обратно: оно было неточным, зато честным. Мне хотелось, чтобы правда выглядела чище, но чистота слишком часто служит тем, кто прячет грязь. В нашей истории все важное приходило с примесью: любовь с контролем, забота с трусостью, память с выгодой, спасение с чужим ущербом. Голос из трубы называет веру по имени не закрывало дело, а открывало следующий слой. Я закрыла блокнот, взяла кассета с надписью «Не слушать дома» и пошла туда, где меня, скорее всего, снова попросят ответить быстрее, чем я готова.

Мир остался на месте, но перестал быть доказательством.

После этого события все вокруг не изменилось, и именно это раздражало: стены стояли, снег лежал, люди продолжали покупать хлеб.

— Вера.

Голос из трубы произнес мое имя глухо, с металлическим надломом, и я слишком поздно поняла, что уже стою у мойки, как у двери.

Я выключила свет на кухне, но темнота не помогла. Вода под мойкой капнула еще раз, будто ставила точку там, где у меня начинался вопрос.

Уже потом я поняла, что в первый вечер проверяла не квартиру, а собственное право вернуться. Я трогала дверные ручки, старую солонку, край клеенки, как будто вещи могли

подтвердить: да, ты здесь жила, да, тебя отсюда никто официально не вычеркивал. Но дом не занимается подтверждениями. Он хранит привычки без сочувствия. В шкафу по-прежнему лежали мамины пакеты из-под пакетов, в ванной стояла синяя кружка для зубных щеток, в коридоре на гвозде висела отцовская складная сумка. Ничего не кричало о тайне. От этого тайна казалась взрослее и хуже: она не нуждалась в декорациях.

Перед сном я записала в блокнот три слова: кассета, вода, отец. В архиве так начинают рабочие дела — с голого перечня. Но ночью эти слова не хотели лежать рядом спокойно. Между ними просачивалось четвертое, которое я не написала: Матвей.

Никто из нас тогда не называл это надеждой. Надежда звучала бы слишком громко. Мы просто продолжали делать следующую вещь: закрывать кран, подписывать коробку, отвечать живому человеку раньше, чем чужому голосу.

В вокзал и мамина квартира у меня появилось новое, почти неприятное чувство: я перестала ждать, что место само раскроет тайну. Раньше я всматривалась в стены, трубы, окна и таблички, будто они обязаны выдать спрятанный смысл, если смотреть достаточно долго. Теперь приходилось работать иначе: задавать вопросы, терпеть чужую злость, принимать неполные ответы, возвращаться к тем же предметам через час и замечать, что изменилось не место, а я сама. Кассета с надписью в такой работе был не ключом, а проверкой терпения. Он лежал рядом, молчал и требовал, чтобы я не придумывала за него удобную легенду.

Соседка с пустым стаканом в тот день сделал то, что потом оказалось важнее любой красивой фразы: нарушил привычный порядок. Не сильно, почти незаметно, на уровне взгляда, паузы, неправильно поставленной чашки или слишком быстро закрытой двери. Я записала это без уверенности, просто чтобы не потерять. Позже именно такая мелочь подтвердила: под мойкой снова капает вода. Не было мгновенного озарения. Была усталая работа внимания, из которой постепенно вырастало решение: позвонить тете Лиде.

Утро после приезда не принесло ясности. Я стояла у окна с холодной кружкой и смотрела, как дворник разбивает лед у подъезда железным ломом. Каждый удар отдавался в батарее, и я непроизвольно считала промежутки. На третьем поняла, что город уже заставил меня слушать иначе: не музыку, не речь, а паузы между обычными звуками. Это было унижительно и полезно. Страх отнимал широкий взгляд, зато оставлял ремесло: считать, сравнивать, не торопиться с выводом.

Глава вторая

Я не верила в мертвых, потому что слишком долго работала с их голосами. Мертвые на пленке не знают, что они мертвые: кашляют, поправляют микрофон, смеются над репликой, которую уже никто не помнит. В этом нет мистики. Есть ферромагнитный слой, скорость протяжки, температура хранения и человеческая потребность оставить след.

Тетя Лида не плакала по маме при мне. Она резала лук для пирожков, ругалась на цену масла и раз в пять минут смотрела на коридор, хотя никто не звонил. Ее молчание было практичным: если заплачешь, тесто перестоит, чайник выкипит, гость увидит, что ты не держишься. В нашем городе многие так переживали горе, будто оно тоже проверяет хозяйственность.

У тети Лиды все предметы стояли там же, где в моем детстве, но это не было уютом. Это было сопротивление времени: сервант с хрусталем, клеенка с ромашками, газовая плита, возле которой она всегда выглядела главнее любого участкового.

Я долго думала, что квартира тети Лиды и гостиничный номер запомнились мне из-за страха. Потом стало ясно: страх только подсветил мелочи, которые и без него были точными. Старый магнитофон «весна» лежал не как символ, а как вещь, которую кто-то держал в руках слишком долго. На поверхности оставались царапины, пятно от пальца, запах бумаги или металла; ничего из этого нельзя было предъявить следователю как доказательство, но именно такие следы не дают истории расползтись в красивую легенду. Когда рядом возникали тетя Лида, Матвей, мать, я цеплялась не за объяснения, а за порядок действий: куда положили ключ, кто выключил воду, кто первым отвел взгляд. Так город переставал быть декорацией и становился механизмом, в котором каждая привычка могла однажды сработать против человека.

Когда она произнесла «Белая Вода», мне понадобилось несколько секунд, чтобы не показать, как это название проходит по коже. В детстве им пугали плохо спящих детей. Позже взрослые делали вид, что сами этого не помнят.

В гостинице пахло порошком и старым ковролином. Я выбрала номер на втором этаже, подальше от стояка, но все равно первым делом проверила ванную. Кран закрывался туго. На зеркале кто-то до меня провел пальцем короткую линию, и она казалась чужой попыткой начать письмо, от которого человек вовремя отказался.

Соседка говорит, что Матвей приходил к ней в октябре и собирался в Белую Воду.

Самым трудным было не поверить в невозможное. Гораздо труднее оказалось не подчиниться возможному, потому что возможное выглядит деловито: журнал на столе, просьба подписать, знакомый голос в динамике, соседская фраза, произнесенная между делом. Запись нельзя слушать рядом с водопроводом. Я могла объяснять это усталостью, акустикой, старыми трубами, плохой проводкой, но каждое объяснение требовало выкинуть из картины одну живую деталь. А детали упирались. Они не давали мне стать ни верующей, ни скептиком. Приходилось оставаться человеком, который проверяет, ошибается, злится и снова проверяет, потому что другой защиты у него нет.

Ее забота всегда выглядела как приказ, но страх в ней был настоящий.

В тот день дежурная гостиницы спрашивает, не из похоронного ли бюро приехала Вера. Я ответила не сразу. В Сосновом Яре паузы стали важнее слов: в них было видно, кто боится за себя, кто за другого, а кто пользуется чужим испугом как лестницей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь старший и спокойный сказал, что делать с старым магнитофоном «Весна», но старшие в этой истории либо молчали, либо оставляли после себя записи. Пришлось выбирать самой. Я сказала коротко, что мне нужно время, и услышала в собственном голосе не уверенность, а упрямство. Иногда этого достаточно, чтобы не открыть дверь, которую перед тобой так настойчиво называют единственной.

От нас требовалось не мужество. Мужество слишком громкое слово. Требовалось не ответить на зов, который был рассчитан именно на нас.

В детстве взрослые произносили белую воду шепотом. Эта память не помогала прямо; она не давала кода, не открывала люк, не отменяла смерть. Зато она возвращала людям объем. Отец переставал быть голосом, мать — запретом, Матвей — пропавшим делом, Соколов — формой при погонах, Зоя — сумасшедшей с окраины. У каждого находились жесты, дурные привычки, неудачные слова, мелкие нежности, которые не помещались в чужой протокол. Белая Вода кормилась тем, что отрезала голос от человека. Поэтому всякая обычная память, даже смешная и бесполезная, работала против нее лучше, чем громкие обещания.

— Не надо было слушать.

Разговоры с людьми в таких обстоятельствах быстро теряют приличный вид. Никто не формулирует боль аккуратно. Один требует вернуть умершего хотя бы на минуту, другой просит стереть все, третий цепляется за инструкцию, четвертый ненавидит того, кто принес новость. Я тоже не была лучше. Меня раздражали вопросы, которые имели право быть заданными; раздражала осторожность Соколова, резкость Матвея, тетина забота, похожая на надзор. Но если убрать раздражение, останется пустая поза. Живые мешают друг другу именно потому, что еще могут выбрать: вынести кассету из квартиры и прослушать ее в гостинице. Выбор почти никогда не выглядит благородно в моменте. Он похож на неряшливую работу руками, которые дрожат не вовремя.

Она просит меня не ночевать в квартире и не верить Матвею сразу, если он вернется.

К вечеру вокруг квартира тети Лиды и гостиничный номер менялось освещением, и вместе с ним менялась вся версия случившегося. Днем предметы выглядели служебно, ночью начинали подыгрывать страху, утром снова делали вид, что не имеют к нему отношения. Я заносила в блокнот простые вещи: время, шум, имя, направление, кто присутствовал. Столбцы получались уродливыми, с помарками и вопросами на полях. Но именно в них возникала первая свобода. Пока событие записано чужим голосом, оно командует. Когда ты записываешь его своей рукой, пусть криво и неполно, приказ становится материалом для проверки.

В Сосновом Яре опасные советы произносили как бытовые.

С тетя Лида было труднее всего, потому что близость всегда портит расследование. Дальнего человека можно подозревать красиво, родного — только с отвращением к себе. Я ловила себя на том, что ищу оправдание там, где надо искать причину, и обвинение там, где надо признать страх. Старый магнитофон «весна» всякий раз возвращал разговор к фактам. Его нельзя было утешить, разжалобить, пристыдить. Он просто лежал и требовал места в цепочке. Такие вещи неприятны тем, что не умеют любить нас в ответ, зато не подстраиваются под нашу нужду быть правыми.

— Матвей где?

Когда стало ясно, что следующим пунктом будет первый разговор с Соколовым, я не почувствовала облегчения. В детективных историях маршрут собирает смысл, а в жизни он чаще собирает усталость: еще один адрес, еще один человек, который не скажет всего, еще одна дверь, где тебе придется выглядеть спокойнее, чем ты есть. Я проверила карман, нашла там чек, старую резинку для волос и ключ, который давно пора было переложить. Это смешное содержимое кармана удержало меня от паники. Мир не обязан исчезать целиком только потому, что в одной его части открылась трещина.

На ресепшене девушка пугается моей фамилии, будто Матвей только что прошел мимо.

Пыль на шкафах лежала ровно, как если бы ее тоже учитывали.

Утром я перечитала заметки и вычеркнула два лишних слова. Потом вернула одно обратно: оно было неточным, зато честным. Мне хотелось, чтобы правда выглядела чище, но чистота слишком часто служит тем, кто прячет грязь. В нашей истории все важное приходило с примесью: любовь с контролем, забота с трусостью, память с выгодой, спасение с чужим ущербом.

бом. Запись нельзя слушать рядом с водопроводом не закрывало дело, а открывало следующий слой. Я закрыла блокнот, взяла старый магнитофон «Весна» и пошла туда, где меня, скорее всего, снова попросят ответить быстрее, чем я готова.

Маленький город знает больше, чем способен объяснить.

Смешнее всего было то, что мы продолжали вести себя как разумные люди: проверяли батарейки, закрывали двери, складывали бумаги в папки.

— Люди иногда возвращаются не целиком.

Гостиница «Юность» давно перестала быть юной. В коридоре пахло мокрыми коврами, дешевой краской и людьми, которые не собирались задерживаться, но задержались.

В номере я дослушиваю запись: мама говорит о договоре, страхе и о том, что Матвей знал дату моего приезда.

Лента не предсказывала — она будто подслушивала решение раньше меня.

Никто из нас не хотел верить в мистику. Мистика просто не спрашивала, какое слово удобнее для протокола.

— Не слушай Сафронова. Он скажет, что я жив. Он не соврет.

На экране телефона горела дата: семнадцатое декабря. Матвей на пленке говорил о восемнадцатом так, будто завтра уже лежало у него в кармане.

У тети Лиды я впервые заметила, как город защищает себя интонацией. Никто не говорил: «мы боимся». Говорили: «не ходи», «не включай», «лучше переночуй», «а то мало ли». За этими словами не было ни легенды, ни учения, ни красивой деревенской мистики. Только накопленный опыт людей, которые однажды услышали лишнее и решили передавать потомкам не знание, а набор запретов. Может быть, так и появляются местные суеверия: не от темноты, а от нежелания снова описывать свет, при котором видели что-то неправильное.

В гостиничном номере я проверила дверь дважды. Потом окно. Потом кран. Никакая проверка не сделала комнату безопасной, зато дала рукам занятие. Иногда этого достаточно, чтобы не позвонить человеку, который все равно не ответит.

К этому моменту я уже понимала, что в Сосновом Яре опасны не только закрытые двери. Открытые двери тоже опасны, если за ними тебя ждут с готовым объяснением. В гостиничный номер мне все чаще предлагали чужую версию событий раньше, чем я успевала спросить. Одни делали это из страха, другие из привычки, третьи из желания остаться приличными людьми в собственной памяти. Тетя Лида отличался только тем, что не всегда прятал усилие. Было видно: говорить правду ему не легче, чем мне ее слушать.

Я держала магнитофон «Весна» и пыталась представить путь вещи до моих рук. Кто ее взял первым, кто положил не туда, кто решил, что подпись или царапина ничего не значат. Вещи в расследовании похожи на упрямых свидетелей: не объясняют мотива, но портят ложь, когда та становится слишком гладкой. Поэтому запрет слушать дома начинает звучать как инструкция не казалось уже отдельным странным эпизодом. Оно вставало в ряд, а ряд, даже кривой и неполный, всегда сильнее одиночного кошмара.

Перед уходом тетя Лида сунула мне пакет с пирожками и сказала, что есть я все равно забуду. Я хотела ответить резко, но увидела, как она завязала пакет двойным узлом, будто в нем лежали не пирожки, а все, что она могла сделать вместо правды. В нашей семье забота часто приходила в неудобной упаковке. Ее легко было отвергнуть, если не заметить, сколько страха человек спрятал в муку, масло и слишком тугой узел.

Глава третья

Ночью мне снился архив: полки уходили вниз, в темную воду, а коробки с пленками плавали, как мертвые улы. На каждой стояла дата, которой еще не было. Я ходила по узким мосткам с пустым каталогом и знала, что ищу голос, но не помнила чей.

Соколов поставил передо мной пакет и не стал придвигать. Это было правильно. Некоторые вещи нельзя передавать из рук в руки, пока человек не решит, что готов их принять. В пакете лежали блокнот Матвея, перчатка без пары, флешка с отломанным ушком и автобусный билет, намокший по краю. Я смотрела на билет дольше всего: даты всегда выглядят невиновными, хотя именно они потом становятся гвоздями.

Соколов не был похож на человека, который любит загадки. Это мешало списать его на местную экзотику. Он говорил не как верующий и не как скептик, а как человек, который слишком много раз проверял невозможное по журналу вызовов.

Я долго думала, что отдел полиции и мокрый двор за райотделом запомнились мне из-за страха. Потом стало ясно: страх только подсветил мелочи, которые и без него были точными. Бумажный пакет с вещами матвея лежал не как символ, а как вещь, которую кто-то держал в руках слишком долго. На поверхности оставались царапины, пятно от пальца, запах бумаги или металла; ничего из этого нельзя было предъявить следователю как доказательство, но именно такие следы не дают истории расползтись в красивую легенду. Когда рядом возникали Илья Соколов, Марина, Матвей, я цеплялась не за объяснения, а за порядок действий: куда положили ключ, кто выключил воду, кто первым отвел взгляд. Так город переставал быть декорацией и становился механизмом, в котором каждая привычка могла однажды сработать против человека.

Про Марину он рассказал ровно, без нажима. Так рассказывают не историю, а адрес. Мне показалось, что он всю жизнь стоит возле того поворота, даже когда сидит за столом в отделе.

— Вы считаете, он жив? — спросила я. Соколов посмотрел не на меня, а на окно, за которым снег засыпал служебную машину. — Я считаю, что слово «пропал» не должно работать вместо расследования. Это был ответ полицейского. Человеческий ответ он оставил при себе, и за это я ему почти поверила.

Утром приходит старший лейтенант Илья Соколов и говорит о заявлении Матвея на Белую Воду.

Самым трудным было не поверить в невозможное. Гораздо труднее оказалось не подчиниться возможному, потому что возможное выглядит деловито: журнал на столе, просьба подписать, знакомый голос в динамике, соседская фраза, произнесенная между делом. В заявлении матвея белая вода названа не санаторием, а объектом. Я могла объяснять это усталостью, акустикой, старыми трубами, плохой проводкой, но каждое объяснение требовало выкинуть из картины одну живую деталь. А детали упирались. Они не давали мне стать ни верующей, ни скептиком. Приходилось оставаться человеком, который проверяет, ошибается, злится и снова проверяет, потому что другой защиты у него нет.

Вода в стенах двигалась без спешки, как человек, знающий дорогу.

В тот день Соколов говорит сухо, но слишком точно помнит дату исчезновения Марины. Я ответила не сразу. В Сосновом Яре паузы стали важнее слов: в них было видно, кто боится за себя, кто за другого, а кто пользуется чужим испугом как лестницей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь старший и спокойный сказал, что делать с бумажным пакет с вещами Матвея, но старшие в этой истории либо молчали, либо оставляли после себя записи. Пришлось выбирать самой. Я сказала коротко, что мне нужно время, и услышала в собственном голосе не уверенность, а упрямство. Иногда этого достаточно, чтобы не открыть дверь, которую перед тобой так настойчиво называют единственной.

Он не пытался понравиться, и это располагало сильнее вежливости.

У отца на старой фотографии такой же пропуск, как у людей из гидролаборатории. Эта память не помогала прямо; она не давала кода, не открывала люк, не отменяла смерть. Зато она возвращала людям объем. Отец переставал быть голосом, мать — запретом, Матвей — пропавшим делом, Соколов — формой при погонах, Зоя — сумасшедшей с окраины. У каждого находились жесты, дурные привычки, неудачные слова, мелкие нежности, которые не помещались в чужой протокол. Белая Вода кормилась тем, что отрезала голос от человека. Поэтому всякая обычная память, даже смешная и бесполезная, работала против нее лучше, чем громкие обещания.

Я все чаще думала: если человек долго молчит, молчание начинает говорить за него чужим голосом.

Разговоры с людьми в таких обстоятельствах быстро теряют приличный вид. Никто не формулирует боль аккуратно. Один требует вернуть умершего хотя бы на минуту, другой просит стереть все, третий цепляется за инструкцию, четвертый ненавидит того, кто принес новость. Я тоже не была лучше. Меня раздражали вопросы, которые имели право быть заданными; раздражала осторожность Соколова, резкость Матвея, тетина забота, похожая на надзор. Но если убрать раздражение, останется пустая поза. Живые мешают друг другу именно потому, что еще могут выбрать: поехать с Соколовым и не отдавать пакет родственникам. Выбор почти никогда не выглядит благородно в моменте. Он похож на неряшливую работу руками, которые дрожат не вовремя.

— Я верю в то, что люди используют страх эффективнее любого оружия.

К вечеру вокруг отдел полиции и мокрый двор за райотделом менялось освещение, и вместе с ним менялась вся версия случившегося. Днем предметы выглядели служебно, ночью начинали подыгрывать страху, утром снова делали вид, что не имеют к нему отношения. Я заносила в блокнот простые вещи: время, шум, имя, направление, кто присутствовал. Столбцы получались уродливыми, с пометками и вопросами на полях. Но именно в них возникала первая свобода. Пока событие записано чужим голосом, оно командует. Когда ты записываешь его своей рукой, пусть криво и неполно, приказ становится материалом для проверки.

Соколов признается, что его сестра пропала у поворота на Белую Воду много лет назад.

С Илья Соколов было труднее всего, потому что близость всегда портит расследование. Дальнего человека можно подозревать красиво, родного — только с отвращением к себе. Я ловила себя на том, что ищу оправдание там, где надо искать причину, и обвинение там, где надо признать страх. Бумажный пакет с вещами матвея всякий раз возвращал разговор к фактам. Его нельзя было утешить, разжалобить, пристыдить. Он просто лежал и требовал места в цепочке. Такие вещи неприятны тем, что не умеют любить нас в ответ, зато не подстраиваются под нашу нужду быть правыми.

Личная боль сделала его полицейским и плохим свидетелем самому себе.

Когда стало ясно, что следующим пунктом будет обыск маминой квартиры, я не почувствовала облегчения. В детективных историях маршрут собирает смысл, а в жизни он чаще собирает усталость: еще один адрес, еще один человек, который не скажет всего, еще одна дверь, где тебе придется выглядеть спокойнее, чем ты есть. Я проверила карман, нашла там чек, старую резинку для волос и ключ, который давно пора было переложить. Это смешное содержимое кармана удержало меня от паники. Мир не обязан исчезать целиком только потому, что в одной его части открылась трещина.

— Вы хотите проверить Белую Воду?

Он передает пакет от Матвея: старую фотографию отца у станции акустического контроля.

Утром я перечитала заметки и вычеркнула два лишних слова. Потом вернула одно обратно: оно было неточным, зато честным. Мне хотелось, чтобы правда выглядела чище, но

чистота слишком часто служит тем, кто прячет грязь. В нашей истории все важное приходило с примесью: любовь с контролем, забота с трусостью, память с выгодой, спасение с чужим ущербом. В заявлении матвея белая вода названа не санаторием, а объектом не закрывало дело, а открывало следующий слой. Я закрыла блокнот, взяла бумажный пакет с вещами Матвея и пошла туда, где меня, скорее всего, снова попросят ответить быстрее, чем я готова.

Отец внезапно оказался не только пропавшим, но и человеком из чужой тайны.

Архивы учат уважать след. Они же должны учить не принимать след за самого человека, но этому уроку редко радуются.

Тот, кто ждет чистого объяснения, в таком городе быстро становится удобной добычей.

— С вами.

Фотография отца у станции акустического контроля выглядела чужой. В наших семейных альбомах он был с удочкой, с паяльником, с Матвеем на плечах. А здесь он стоял так, будто знал пароль к месту, которого не должно было быть.

Гостиница фиксирует ночной звонок с отключенного телефона моей матери: в трубке была вода и фраза «она слушает».

Невозможное впервые получило распечатку.

Я не знала, где заканчивается расследование и начинается семейная вина, потому что границу провели водой.

— Почему со мной?

Когда Соколов ушел, из ванной донесся звук льющейся воды. Кран был закрыт, и это уже не было главным.

В тот момент я еще не умела отделять предупреждение от соблазна. В памяти остались не громкие слова, а слабый свет радиомачты; именно она уточняла то, что официальные факты впервые трескаются рядом с личной болью. Пока рядом были Соколов, пропавшая Марина, фотография отца, любое объяснение требовало платы: кому поверить, кого оставить без ответа и чей страх не принять за приказ. Так я училась, что живых выбирают не один раз, а снова и снова.

Соколов ушел, а я еще долго смотрела на бумажный пакет Матвея. Полицейские пакеты в кино всегда выглядят как начало порядка. Этот был обычный, из-под фотобумаги, и потому казался честнее. Матвей никогда не любил официальные формы: он писал важное на обрывках, на полях газет, на внутренней стороне коробок. В этом была его наглость и его вера в то, что смысл не обязан ждать правильного бланка. Я разозлилась на него за это, потому что злость была единственным способом не признать, как сильно я рада любому следу.

Фотография отца не помещалась в привычную рамку памяти. Я знала его руки с трещинами от морозов, знала запах табака от куртки, знала смех. Но не знала человека, который стоял у бетонной станции и смотрел в объектив как свидетель.

Ни один разговор в райотдел не шел прямо. Люди начинали с погоды, цен, чужого здоровья, с того, что давно пора менять трубы или закрывать дорогу. Потом вдруг, как бы случайно, называли имя, дату, предмет. Я научилась не торопить такие разговоры. Если давить, человек защищает не тайну, а себя в тот момент, когда когда-то промолчал. Соколов тоже защищался, хотя делал вид, что просто сердится.

После этого я долго шла без музыки и без звонков. Мне нужно было, чтобы собственные мысли перестали подражать чужим голосам. Пакет с вещами матвея лежал в сумке, бился о бок при каждом шаге и отмерял дорогу лучше часов. В какой-то момент я поняла, что в заявлении появляется Белая Вода; не как окончательная разгадка, а как граница, за которой уже нельзя жить прежней версией событий. Дальше оставалось только вернуться в мамину квартиру, и именно простота этого шага пугала сильнее темноты.

Когда Соколов вышел курить, я раскрыла блокнот Матвея. Первые страницы были заняты обычной чепухой: список покупок, фамилии авторов, рисунок кота в очках. Потом

начались стрелки, даты, короткие пометки. Брат никогда не умел вести записи аккуратно; он оставлял в них след своего движения, и поэтому читать было больнее. Передо мной был не план героя и не бред пропавшего, а человек, который боялся, но продолжал проверять собственный страх.

Глава четвертая

Соколов приехал не на полицейской машине, а на старой «Ниве» цвета мокрого асфальта. На заднем сиденье лежали лопата, термос, коробка перчаток и детское автокресло, давно не нужное, но почему-то не вынутое. Такие вещи говорят о человеке больше, чем он собирался сообщить.

В подвале Соколов шел первым, хотя не знал наших закоулков. Он светил фонарем под ноги, не по сторонам, и этим отличался от людей, которые в темноте ищут чудовище. В углу за трубами я увидела детскую санку с оборванной веревкой. Матвей таскал на ней снег в подъезд, чтобы построить крепость, и мама тогда неделю мыла лестницу. Я вспомнила это так резко, что едва не наступила в лужу.

Мамина квартира сопротивлялась сбору вещей. Каждая полка предлагала не документ, а воспоминание, и это было нечестно: я приехала закрывать наследство, а не проходить повторную экспертизу детства.

Я долго думала, что мамина квартира, подвал, сырой двор запомнились мне из-за страха. Потом стало ясно: страх только подсветил мелочи, которые и без него были точными. Оловянный лебедь и блокноты отца лежал не как символ, а как вещь, которую кто-то держал в руках слишком долго. На поверхности оставались царапины, пятно от пальца, запах бумаги или металла; ничего из этого нельзя было предъявить следователю как доказательство, но именно такие следы не дают истории расползтись в красивую легенду. Когда рядом возникали Соколов, отец, мать, Матвей, я цеплялась не за объяснения, а за порядок действий: куда положили ключ, кто выключил воду, кто первым отвел взгляд. Так город переставал быть декорацией и становился механизмом, в котором каждая привычка могла однажды сработать против человека.

Направление в Белую Воду я держала двумя пальцами, как медицинский снимок. Бумага не доказывала, что я там была. Она доказывала, что кто-то считал нужным отправить меня туда и не оставить в моей памяти следа.

Сантехник из ЖЭКа пришел с видом человека, которого оторвали от законного безразличия. Услышав про стук в батарее, он начал рассказывать про воздух в системе, старые стояки и жильцов, которые сами не знают, чего хотят. Но когда Соколов назвал Белую Воду, сантехник закрыл ящик с инструментами слишком быстро. Железо звякнуло коротко, виновато.

В квартире мы собираем папины блокноты и находим направление пятнадцатилетней Веры в Белую Воду.

Самым трудным было не поверить в невозможное. Гораздо труднее оказалось не подчиниться возможному, потому что возможное выглядит деловито: журнал на столе, просьба подписать, знакомый голос в динамике, соседская фраза, произнесенная между делом. Батарея выстукивает слово «мама». Я могла объяснять это усталостью, акустикой, старыми трубами, плохой проводкой, но каждое объяснение требовало выкинуть из картины одну живую деталь. А детали упирались. Они не давали мне стать ни верующей, ни скептиком. Приходилось оставаться человеком, который проверяет, ошибается, злится и снова проверяет, потому что другой защиты у него нет.

Память возмущалась документу, но бумага не нуждалась в моем согласии.

В тот день сантехник из ЖЭКа отводит глаза, когда слышит про старый водозабор. Я ответила не сразу. В Сосновом Яре паузы стали важнее слов: в них было видно, кто боится за себя, кто за другого, а кто пользуется чужим испугом как лестницей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь старший и спокойный сказал, что делать с оловянный лебедь и блокноты отца, но старшие в этой истории либо молчали, либо оставляли после себя записи. Пришлось выбирать самой. Я сказала коротко, что мне нужно время, и услышала в собственном голосе не уверен-

ность, а упрямство. Иногда этого достаточно, чтобы не открыть дверь, которую перед тобой так настойчиво называют единственной.

— Морзе знаете?

Матвей в детстве складывал из лебедей целую реку на подоконнике. Эта память не помогала прямо; она не давала кода, не открывала люк, не отменяла смерть. Зато она возвращала людям объем. Отец переставал быть голосом, мать — запретом, Матвей — пропавшим делом, Соколов — формой при погонах, Зоя — сумасшедшей с окраины. У каждого находились жесты, дурные привычки, неудачные слова, мелкие нежности, которые не помещались в чужой протокол. Белая Вода кормилась тем, что отрезала голос от человека. Поэтому всякая обычная память, даже смешная и бесполезная, работала против нее лучше, чем громкие обещания.

Батарея простукивает «мама», и Соколов записывает ритм как азбуку Морзе.

Разговоры с людьми в таких обстоятельствах быстро теряют приличный вид. Никто не формулирует боль аккуратно. Один требует вернуть умершего хотя бы на минуту, другой просит стереть все, третий цепляется за инструкцию, четвертый ненавидит того, кто принес новость. Я тоже не была лучше. Меня раздражали вопросы, которые имели право быть заданными; раздражала осторожность Соколова, резкость Матвея, тетина забота, похожая на надзор. Но если убрать раздражение, останется пустая поза. Живые мешают друг другу именно потому, что еще могут выбрать: искать фонд гидролаборатории в районном архиве. Выбор почти никогда не выглядит благородно в моменте. Он похож на неряшливую работу руками, которые дрожат не вовремя.

Тишина не была пустой: в ней работало отопление и чужое терпение.

К вечеру вокруг мамина квартира, подвал, сырой двор менялось освещение, и вместе с ним менялась вся версия случившегося. Днем предметы выглядели служебно, ночью начинали подыгрывать страху, утром снова делали вид, что не имеют к нему отношения. Я заносила в блокнот простые вещи: время, шум, имя, направление, кто присутствовал. Столбцы получались уродливыми, с помарками и вопросами на полях. Но именно в них возникала первая свобода. Пока событие записано чужим голосом, оно командует. Когда ты записываешь его своей рукой, пусть криво и неполно, приказ становится материалом для проверки.

Трубы впервые перестали быть трубами при свидетеле.

С Соколов было труднее всего, потому что близость всегда портит расследование. Дальнего человека можно подозревать красиво, родного — только с отвращением к себе. Я ловила себя на том, что ищу оправдание там, где надо искать причину, и обвинение там, где надо признать страх. Оловянный лебедь и блокноты отца всякий раз возвращал разговор к фактам. Его нельзя было утешить, разжалобить, пристыдить. Он просто лежал и требовал места в цепочке. Такие вещи неприятны тем, что не умеют любить нас в ответ, зато не подстраиваются под нашу нужду быть правыми.

— Только SOS.

Когда стало ясно, что следующим пунктом будет Римма Борисовна, я не почувствовала облегчения. В детективных историях маршрут собирает смысл, а в жизни он чаще собирает усталость: еще один адрес, еще один человек, который не скажет всего, еще одна дверь, где тебе придется выглядеть спокойнее, чем ты есть. Я проверила карман, нашла там чек, старую резинку для волос и ключ, который давно пора было переложить. Это смешное содержимое кармана удержало меня от паники. Мир не обязан исчезать целиком только потому, что в одной его части открылась трещина.

В подвале, где умер сантехник, на стене процарапано: «Не слушать после третьего».

Предупреждение выглядело так, будто его писали не для спасения, а для учета.

Утром я перечитала заметки и вычеркнула два лишних слова. Потом вернула одно обратно: оно было неточным, зато честным. Мне хотелось, чтобы правда выглядела чище, но чистота слишком часто служит тем, кто прячет грязь. В нашей истории все важное приходило

с примесью: любовь с контролем, забота с трусостью, память с выгодой, спасение с чужим ущербом. Батарея выстукивает слово «мама» не закрывало дело, а открывало следующий слой. Я закрыла блокнот, взяла оловянный лебедь и блокноты отца и пошла туда, где меня, скорее всего, снова попросят ответить быстрее, чем я готова.

— Это не SOS.

В подвале смерть сантехника уже убрали, но место еще держало форму тела. Есть помещения, где понимаешь: трагедия ушла, а ее геометрия осталась.

В насосной камере лежит оловянный лебедь Матвея с надписью «Верни запись».

Старый линолеум держал запах лекарств и жареного лука.

Детская игрушка была страшнее любой реликвии, потому что знала дорогу домой.

— Оно знает мое имя.

Колодец под крышкой тихо стучал изнутри. Не просил открыть. Еще нет.

У страха есть плохая привычка притворяться ответственностью; иначе невозможно понять, почему мокрый след у порога оказалась важнее очередного объяснения. Дом показывает, что смерть не закрыла ни одну линию, но сцена не закрывалась: мамина квартира, батареи, подвал продолжали работать как медленный механизм, втягивая в себя новые решения. Из этого выходил неприятный вывод: страх чаще просит расписаться, чем кричит.

Подвал нашего дома был устроен проще человеческой памяти: трубы, стены, мокрый бетон, старые банки с краской, забытая детская санка. И все же именно там легче всего было понять, как семейная история становится городской. Отец исчез не в легенде, мама молчала не в пустоте, Матвей слушал не в одиночестве. Все линии сходились к трубам, ключам, аварийным службам, к людям, которые каждый день проходили мимо люка и думали о чем угодно, только не о том, что под ногами у них лежит чужая недосказанность.

Лебедь в ладони был тяжелее, чем должен быть сувенир. Я подумала о детской полке Матвея, о пыли, о том, как вещи переживают наши ссоры и потом возвращаются не мирить, а предъявлять счет.

Больше всего меня злила бытовая прочность всего вокруг. В подвал дома продолжали скрипеть двери, липнуть к пальцам старые выключатели, пахнуть мокрой одеждой и дешевым чаем. Ужас не отменял коммунального расписания. Он просто встраивался в него, становился частью маршрута до остановки, очереди за хлебом, короткого разговора на лестнице. Поэтому оловянный лебедь был так важен: он не позволял спрятать случившееся в красивую тьму, возвращал его на стол, под лампу, туда, где с ним надо что-то делать.

Сантехник из жэка сказал тогда не то, что я хотела услышать. Возможно, именно поэтому я запомнила разговор честно. От удобных слов память быстро делает украшение, а неудобные оставляет с заусенцами. Они цепляются за следующие дни, мешают простым выводам, заставляют пересматривать собственную правоту. Так и случилось: батарея отвечает ритмом. После этого прежний выбор выглядел уже не выбором, а отсрочкой. Я убрала оловянный лебедь в сумку и впервые подумала о следующем шаге без попытки представить себе весь финал: идти в районный архив.

Я нашла в мамином шкафу пакет с детскими шарфами. Один был мой, с вытянутыми петлями у края, второй Матвеев, с пятном от зеленки. Мама не выбросила их, хотя выбрасывала почти все, что мешало порядку. Эта слабость в ее системе разозлила меня сильнее любого обвинения. Проще ненавидеть человека целиком, чем заметить, что он хранил твою детскую вещь и все равно много лет молчал там, где должен был говорить.

Глава пятая

Матвей всегда умел находить двери там, где я видела стену. В детстве это было полезно: он знал, где сторож прячет ключ от чердака и какая доска отходит в заборе хлебозавода. После исчезновения отца эта способность стала опасной: он начал искать двери в шуме телевизора, в сливе ванны, в папиных кассетах.

Римма Борисовна держала ключи на цепочке, которая не подходила к ее строгому кардигану. Цепочка звенела детсадовски, почти весело, и этот звук странно спорил с серыми папками. Она привела меня к шкафу не сразу: сначала проверила читательский билет, паспорт, заявление, потом еще раз паспорт, хотя уже запомнила мои данные. Так сопротивляются не просьбе, а собственной готовности уступить.

Районный архив помещался в бывшем детском саду, и это обстоятельство почему-то делало его менее безобидным. На стене у входа медведь нес бочонок меда, но лицо ему давно отбили, и медведь выглядел так, будто нес улику.

Я долго думала, что районный архив в бывшем детском саду запомнились мне из-за страха. Потом стало ясно: страх только подсветил мелочи, которые и без него были точными. Опись оборудования гидролаборатории лежал не как символ, а как вещь, которую кто-то держал в руках слишком долго. На поверхности оставались царапины, пятно от пальца, запах бумаги или металла; ничего из этого нельзя было предъявить следователю как доказательство, но именно такие следы не дают истории расползтись в красивую легенду. Когда рядом возникали Римма Борисовна, Зоя Белова, Сафронов, я цеплялась не за объяснения, а за порядок действий: куда положили ключ, кто выключил воду, кто первым отвел взгляд. Так город переставал быть декорацией и становился механизмом, в котором каждая привычка могла однажды сработать против человека.

Римма Борисовна не была злой. Злость была бы проще. Она была человеком, который много лет выбирал маленькие формы трусости, пока они не сложились в профессию.

В описи рядом с фамилией отца стояла пометка карандашом: «голос устойчив». Я перечитала ее несколько раз и почувствовала, как обычные слова меняют кожу. Устойчивым бывает сигнал, характер, мост, курс валют. Про человека так писать нельзя, если он остается человеком. Римма Борисовна увидела, куда я смотрю, и тихо сказала: — Я тогда была младшим хранителем. Это прозвучало не оправданием, а слабой попыткой занять место в кадре до того, как я назову ее соучастницей.

Архивариус Римма Борисовна сначала отказывает мне в фонде гидролаборатории.

Самым трудным было не поверить в невозможное. Гораздо труднее оказалось не подчиниться возможному, потому что возможное выглядит деловито: журнал на столе, просьба подписать, знакомый голос в динамике, соседская фраза, произнесенная между делом. Резервуар в-3 и фамилия отца стоят в одном списке. Я могла объяснять это усталостью, акустикой, старыми трубами, плохой проводкой, но каждое объяснение требовало выкинуть из картины одну живую деталь. А детали упирались. Они не давали мне стать ни верующей, ни скептиком. Приходилось оставаться человеком, который проверяет, ошибается, злится и снова проверяет, потому что другой защиты у него нет.

Старые архивы охраняют не секреты, а людей, которые привыкли быть трусливыми.

В тот день Римма Борисовна сначала злится, потом просит не произносить вслух номер фонда. Я ответила не сразу. В Сосновом Яре паузы стали важнее слов: в них было видно, кто боится за себя, кто за другого, а кто пользуется чужим испугом как лестницей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь старший и спокойный сказал, что делать с описью оборудования гидролаборатории, но старшие в этой истории либо молчали, либо оставляли после себя записи. Пришлось выбирать самой. Я сказала коротко, что мне нужно время, и услышала в собственном голосе

не уверенность, а упрямство. Иногда этого достаточно, чтобы не открыть дверь, которую перед тобой так настойчиво называют единственной.

— Фонд закрыт.

На стене архива облупленный медведь с бочонком смотрит как свидетель. Эта память не помогала прямо; она не давала кода, не открывала люк, не отменяла смерть. Зато она возвращала людям объем. Отец переставал быть голосом, мать — запретом, Матвей — пропавшим делом, Соколов — формой при погонах, Зоя — сумасшедшей с окраины. У каждого находились жесты, дурные привычки, неудачные слова, мелкие нежности, которые не помещались в чужой протокол. Белая Вода кормилась тем, что отрезала голос от человека. Поэтому всякая обычная память, даже смешная и бесполезная, работала против нее лучше, чем громкие обещания.

Она показывает опись оборудования: гидрофоны, магнитофоны, резервуар В-3, фамилии отца, Сафронова, Зои Беловой.

Разговоры с людьми в таких обстоятельствах быстро теряют приличный вид. Никто не формулирует боль аккуратно. Один требует вернуть умершего хотя бы на минуту, другой просит стереть все, третий цепляется за инструкцию, четвертый ненавидит того, кто принес новость. Я тоже не была лучше. Меня раздражали вопросы, которые имели право быть заданными; раздражала осторожность Соколова, резкость Матвея, тетина забота, похожая на надзор. Но если убрать раздражение, останется пустая поза. Живые мешают друг другу именно потому, что еще могут выбрать: скопировать шифры дел и найти Зою Белову. Выбор почти никогда не выглядит благородно в моменте. Он похож на неряшливую работу руками, которые дрожат не вовремя.

Лампы дневного света гудели над головой терпеливо и сердито.

К вечеру вокруг районный архив в бывшем детском саду менялось освещение, и вместе с ним менялась вся версия случившегося. Днем предметы выглядели служебно, ночью начинали подыгрывать страху, утром снова делали вид, что не имеют к нему отношения. Я заносила в блокнот простые вещи: время, шум, имя, направление, кто присутствовал. Столбцы получались уродливыми, с помарками и вопросами на полях. Но именно в них возникала первая свобода. Пока событие записано чужим голосом, оно командует. Когда ты записываешь его своей рукой, пусть криво и неполно, приказ становится материалом для проверки.

Скучный перечень предметов вдруг стал картой семейной катастрофы.

С Римма Борисовна было труднее всего, потому что близость всегда портит расследование. Дальнего человека можно подозревать красиво, родного — только с отворачиванием к себе. Я ловила себя на том, что ищу оправдание там, где надо искать причину, и обвинение там, где надо признать страх. Опись оборудования гидролаборатории всякий раз возвращал разговор к фактам. Его нельзя было утешить, разжалобить, пристыдить. Он просто лежал и требовал места в цепочке. Такие вещи неприятны тем, что не умеют любить нас в ответ, зато не подстраиваются под нашу нужду быть правыми.

— На каком основании?

Когда стало ясно, что следующим пунктом будет дорога к Белой Воде, я не почувствовала облегчения. В детективных историях маршрут собирает смысл, а в жизни он чаще собирает усталость: еще один адрес, еще один человек, который не скажет всего, еще одна дверь, где тебе придется выглядеть спокойнее, чем ты есть. Я проверила карман, нашла там чек, старую резинку для волос и ключ, который давно пора было переложить. Это смешное содержимое кармана удержало меня от паники. Мир не обязан исчезать целиком только потому, что в одной его части открылась трещина.

Из фрагмента описи: «Носитель принят без внешних повреждений. Повторное воспроизведение ограничить. Ответ, полученный без запроса, считать наведенным до выяснения при-

роды источника». В таких словах всегда слышится желание, чтобы источник никогда не выяснился.

В протоколе говорится, что голос умершей испытуемой ответил о событии после смерти; после третьего воспроизведения слушать запрещено.

Утром я перечитала заметки и вычеркнула два лишних слова. Потом вернула одно обратно: оно было неточным, зато честным. Мне хотелось, чтобы правда выглядела чище, но чистота слишком часто служит тем, кто прячет грязь. В нашей истории все важное приходило с примесью: любовь с контролем, забота с трусостью, память с выгодой, спасение с чужим ущербом. Резервуар в-3 и фамилия отца стоят в одном списке не закрывало дело, а открывало следующий слой. Я закрыла блокнот, взяла опись оборудования гидролаборатории и пошла туда, где меня, скорее всего, снова попросят ответить быстрее, чем я готова.

Научный язык умеет делать ужас чистоплотным.

— На основании того, что закрыт.

Опись пахла пылью и машинописной лентой. Я смотрела на названия оборудования и понимала: иногда чудовище начинается как закупочная ведомость.

По радиоточке Матвей предупреждает не брать опись, но на папке уже нарисован круг с чертой.

Метка была не знаком, а приглашением, поставленным без спроса.

— Вера, не бери опись. Там метка.

Свет погас одновременно во всех комнатах, кроме той, где за стеклом читального зала люди продолжали писать заявления при лампах. Темнота, как выяснилось, тоже умела выбирать.

У страха есть плохая привычка притворяться ответственностью. В памяти остались не громкие слова, а надпись, сделанная слишком ровно; именно она подтверждала то, что бумаги оказываются опаснее слухов, потому что их можно предъявить. Пока рядом были районный архив, Римма, закрытый фонд, любое объяснение требовало платы: кому поверить, кого оставить без ответа и чей страх не принять за приказ. Так я училась, что ответ, полученный слишком легко, почти всегда кем-то оплачен.

Римма Борисовна, провожая меня к запасному выходу, вдруг поправила на стеллаже одну папку. Жест был машинальный, почти нежный. Я тогда подумала, что архивисты похожи на санитаров после бедствия: они не могут воскресить, но могут не дать телам лежать как попало. Позже это сравнение показалось мне жестоким, но не неверным. Документы тоже требуют позы, температуры, номера и свидетеля. Без этого любая правда быстро превращается в слух, а слух в удобное ничто.

Римма Борисовна закрыла шкаф двумя оборотами ключа. Этот звук был до смешного обычным. Так закрывают бухгалтерию, школьный кабинет, комнату с ненужными лыжами. Только за дверцей остался кусок истории, которая уже умела открываться сама.

В архив в бывшем детском саду у меня появилось новое, почти неприятное чувство: я перестала ждать, что место само раскроет тайну. Раньше я всматривалась в стены, трубы, окна и таблички, будто они обязаны выдать спрятанный смысл, если смотреть достаточно долго. Теперь приходилось работать иначе: задавать вопросы, терпеть чужую злость, принимать неполные ответы, возвращаться к тем же предметам через час и замечать, что изменилось не место, а я сама. Опись гидролаборатории в такой работе был не ключом, а проверкой терпения. Он лежал рядом, молчал и требовал, чтобы я не придумывала за него удобную легенду.

Римма борисовна в тот день сделал то, что потом оказалось важнее любой красивой фразы: нарушил привычный порядок. Не сильно, почти незаметно, на уровне взгляда, паузы, неправильно поставленной чашки или слишком быстро закрытой двери. Я записала это без уверенности, просто чтобы не потерять. Позже именно такая мелочь подтвердила: фамилия

отца оказывается рядом с резервуаром В-3. Не было мгновенного озарения. Была усталая работа внимания, из которой постепенно выросло решение: искать Зою.

В читальном зале архива часы шли громче, чем положено часам. Их стук разбивал тишину на равные доли, и каждая доля будто спрашивала, сколько времени город купил своим молчанием. Римма Борисовна делала вид, что не слышит. Я тоже делала вид, что не считаю. Иногда два человека могут сидеть напротив друг друга и вместе поддерживать ложь о том, что помещение спокойно.

Глава шестая

Темнота в архиве не была полной, но она изменила порядок доверия. Стеллаж перестал быть стеллажом и стал возможностью движения. Папка под курткой давила в ребра так, будто сама хотела вернуться в шкаф.

Лес за городом стоял густо, без зимней открытки. На обочине валялась покрывка, вокруг нее намело чистый снег, и от этого мусор выглядел еще упрямее. Соколов вел машину двумя руками. После третьего километра он выключил печку: сказал, что шумит. Мы поехали в холоде, слушая, как под колесами меняется дорога. Иногда расследование начинается с того, что люди добровольно уменьшают себе комфорт, лишь бы не пропустить неправильный звук.

Ложный Соколов просил открыть без раздражения, и это его выдавало. Настоящий не стал бы тратить голос на такую гладкую интонацию. Настоящие люди в беде всегда звучат чуть хуже своих копий.

Я долго думала, что шоссе через лес и закрытый поворот на санаторий запомнились мне из-за страха. Потом стало ясно: страх только подсветил мелочи, которые и без него были точными. Радио в старой ниве лежал не как символ, а как вещь, которую кто-то держал в руках слишком долго. На поверхности оставались царапины, пятно от пальца, запах бумаги или металла; ничего из этого нельзя было предъявить следователю как доказательство, но именно такие следы не дают истории расползтись в красивую легенду. Когда рядом возникали Соколов, Марина, Матвей, я цеплялась не за объяснения, а за порядок действий: куда положили ключ, кто выключил воду, кто первым отвел взгляд. Так город переставал быть декорацией и становился механизмом, в котором каждая привычка могла однажды сработать против человека.

На снегу за архивом детские следы выглядели почти трогательно. Я думала о том, как часто ужас пользуется детской формой не потому, что дети страшнее, а потому, что взрослые хуже защищаются.

Радио включилось само на короткой волне. Женский голос произнес имя Соколова так близко, будто сидел на заднем сиденье. Он не дернулся, только сильнее сжал руль. Я успела подумать, что выдержка выглядит совсем не как в кино: ни каменного лица, ни уверенной команды. Просто человек продолжает держать машину на дороге, хотя внутри у него уже свернули не туда.

За дверью звучит голос Соколова, хотя настоящий еще не мог приехать.

Самым трудным было не поверить в невозможное. Гораздо труднее оказалось не подчиниться возможному, потому что возможное выглядит деловито: журнал на столе, просьба подписать, знакомый голос в динамике, соседская фраза, произнесенная между делом. Эфир подделывает голос Марины и почти заставляет соколова свернуть. Я могла объяснять это усталостью, акустикой, старыми трубами, плохой проводкой, но каждое объяснение требовало выкинуть из картины одну живую деталь. А детали упирались. Они не давали мне стать ни верующей, ни скептиком. Приходилось оставаться человеком, который проверяет, ошибается, злится и снова проверяет, потому что другой защиты у него нет.

Подделка была почти точной, но в ней не хватало усталости.

В тот день Соколов впервые признается, что однажды уже ответил на такой зов. Я ответила не сразу. В Сосновом Яре паузы стали важнее слов: в них было видно, кто боится за себя, кто за другого, а кто пользуется чужим испугом как лестницей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь старший и спокойный сказал, что делать с радио в старой Ниве, но старшие в этой истории либо молчали, либо оставляли после себя записи. Пришлось выбирать самой. Я сказала коротко, что мне нужно время, и услышала в собственном голосе не уверенность, а упрямство. Иногда этого достаточно, чтобы не открыть дверь, которую перед тобой так настойчиво называют единственной.

— Вера, я один. Откройте.

Последние пятиэтажки в зеркале похожи на окна, которые нарочно не смотрят вслед. Эта память не помогала прямо; она не давала кода, не открывала люк, не отменяла смерть. Зато она возвращала людям объем. Отец переставал быть голосом, мать — запретом, Матвей — пропавшим делом, Соколов — формой при погонах, Зоя — сумасшедшей с окраины. У каждого находились жесты, дурные привычки, неудачные слова, мелкие нежности, которые не помещались в чужой протокол. Белая Вода кормилась тем, что отрезала голос от человека. Поэтому всякая обычная память, даже смешная и бесполезная, работала против нее лучше, чем громкие обещания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.